

КНИГА ПЕРВАЯ

Глава 1

Январским вечером начала семидесятых Кристина Нильссон¹ пела в нью-йоркской Академии музыки в опере «Фауст».

Хоть уже шли толки о возведении бог знает где, за Сороковыми улицами, нового здания оперы, призванного затмить роскошью и дороговизной великие оперные театры европейских столиц, нью-йоркский бомонд по-прежнему с удовольствием коротал вечера зимнего сезона среди потертого ало-золотого убранства лож доброй и такой приветливой Академии. Люди консервативные ценили ее зал за малые размеры и неудобство, что оберегало его от нашествия «новых людей», чьи фигуры, все более заметные в жизни города, теперь не только привлекали, но и вызывали у ньюйоркцев своего рода оторопь; людей чувствительных и сентиментальных привязывали к залу воспоминания, его богатая история и отличная акустика — качество,

¹ Нильссон Кристина (1843–1921) — прославленная шведская певица — сопрано, в свое время считалась соперницей Аделины Патти. «Сомнамбула» (1831) — опера итальянского композитора Винченцо Беллини (1801–1835). Патти Адела Мария (Аделина) (1843–1919) — знаменитая итальянская певица. (Здесь и далее прим. перев.)

обычно так трудно достижимое в музыкальных театрах.

Это было первым выступлением мадам Нильсон в зимнем сезоне, и те, кого ежедневная пресса привыкла именовать «весь цвет Нью-Йорка», собрались послушать ее, преодолев скользкие заснеженные мили пути в собственных экипажах — небольших одноконных либо вместительных семейных ландо, а кто и не столь помпезным, зато удобным образом «на «Браун-купе», в Брауновых наемных платных экипажах. Впрочем, приехать в Оперу «на Браун-купе» едва ли почиталось менее достойным, нежели прибыть туда в личном кабриолете, а уж уехать «на Браун-купе» давало прибегшему к такому способу передвижения (эдакой шуточной игре в демократизм) неоспоримое преимущество мгновенно влезть в первое же из стоявших в ряд общедоступных транспортных средств, не дожидаясь возле подъезда Академии явления там раскрасневшейся от холода и выпитого джина физиономии кучера. Безошибочная интуиция платных возчиков подсказала им догадку о том, что потребность американцев поскорее покинуть место увеселения превышает даже потребность на это увеселение попасть.

Ньюленд Арчер открыл дверь в глубине клубной ложи как раз в тот момент, когда поднявшийся занавес открывал глазам зрителей декорацию сцены в саду. Причины не приехать в театр пораньше у молодого человека, казалось бы, вовсе не было: отобедал он ровно в семь в обществе только матери и сестры, после чего помедлил еще, сидя с сигарой среди полированных книжных шкафов

из черного орехового дерева и затейливых, увенчанных резным узором кресел в «готической библиотеке», единственной комнате, где миссис Арчер разрешала курить. Однако ведь Нью-Йорк — это прежде всего и в первую очередь крупный центр культуры, а хорошо известно, что в крупных центрах культуры приезжать в оперу вовремя «не принято». Нью-Йорку Ньюленда Арчера умение разбираться в том, что «принято» и что «не принято», представлялось крайне важным, владение подобным знанием играло роль некоего тотемного божества из тех, кои тысячи лет назад тяготели над нашими предками, верша их судьбы, правя ими и повергая души в трепет и благоговение.

Вторая причина неспешности действий Ньюленда коренилась в особенностях его характера. Он медлил, курия сигару, потому что, строго говоря, был дилетантом, а предвкушать удовольствие ему нередко доставляло радость более острую, нежели это удовольствие получать. Особенно это касалось удовольствий самого тонкого и изысканного свойства, какими и изобиловала жизнь Ньюленда. На этот раз удовольствие, которое он ожидал, виделось ему и вовсе несравненным, поэтому... словом, даже если б Ньюленд согласовывал время своего прибытия в Оперу с импресарио примадонны, он не мог бы войти в ложу более своевременно, чем в тот момент, когда мадам Нильссон пела: «Любит... не любит... ОН МЕНЯ ЛЮБИТ!», разбрасывая вокруг себя лепестки маргариток, которые падали на сцену, сопровождаемые звуками, чистыми, как роса.

Пела она, разумеется, не «меня любит», а «m'ama», так как согласно непререкаемому и неизменно действующему в музыкальном мире закону слова французских опер на немецкий сюжет для удобства англоязычной публики должны воспроизводиться шведскими певицами исключительно по-итальянски. Однако Ньюленду это казалось вполне естественным: еще одна условность, как и прочие условности, формирующие его быт, например необходимость причесываться и делать пробор на голове, действуя двумя серебряными щетками с монограммой, выполненной в синей эмали, или же невозможность появиться в обществе без цветка (преимущественно гардении) в петлице. «M'ama ... non m'ama», — пела примадонна. С последним победным возгласом подтвержденной любви она, прижав к губам растерзанную маргаритку, устремила взор широко открытых глаз к лицу многомудрого Фауста — Капуля¹, коротконового и нарумяненного, обряженного в тесноватый дублет красного бархата и в берете с пером на голове, коварно, но тщетно пытавшегося выглядеть столь же чистым и искренним, как его бесхитростная жертва.

Прислонившись к задней стенке ложи, Ньюленд Арчер оторвал взгляд от сцены и оглядел ложи напротив. Непосредственно перед ним находилась ложа престарелой миссис Мэнсон Мингот, чья чудовищная тучность давно уже препятствовала ее выездам в оперу, но чьи молодые родственники

¹ Капуль Жозеф Амеде Виктор (1839–1924) — французский тенор.

неукоснительно присутствовали на всех модных сборищах в качестве ее представителей. На этот раз первый ряд кресел там занимали ее невестка миссис Ловел Мингот и дочь, миссис Уэлланд, а чуть дальше, позади этих затянутых в парчу матрон, сидела юная девушка в белом, чьи глаза выражали восторг и полную поглощенность действием. Когда «Мама» мадам Нильссон взвилось над притихшим залом (к сцене гадания на маргаритке разговоры в ложах всегда замолкали), щеки девушки вспыхнули жаркой волной, залившей их розовым до самого лба и корней белокурых кос и спустившейся к молодым округлостям груди под скромным вырезом, окаймленным тюлевой складкой с цветком гардении. Девушка опустила глаза к объемистому пучку ландышей у нее на коленях, и Ньюленд заметил, как руки ее в белых перчатках кончиками пальцев нежно поглаживают цветы. Со вздохом удовлетворенного тщеславия он перевел взгляд на сцену.

На декорации не поскупились, и красоту их признавали даже те, кто, как и он, видели оперные спектакли в Париже и Вене. Авансцену до самой рампы покрывала изумрудно-зеленая материя. Средний план составляли симметричные, ограниченные дужками крокетных воротец шерстистые холмики, изображавшие мох, а над ними высились кусты, размером с апельсиновые деревья, но усеянные крупными цветками роз — алых и розовых. Из мха выглядывали огромные, больше роз, анютины глазки; они были похожи на цветастые перочистки, из тех, что дарят священникам их усердные прихожанки, а на розовых кустах там и сям мелькали

маргаритки, по-видимому, привитые к розам — как дальнее предвестье чудесных достижений мистера Лютера Бербанка¹.

В центре этого волшебного сада мадам Нильссон в белом платье из тонкой шерсти и бледно-голубого атласа, со свисающим с голубого ее пояска ридикюлем и двумя длинными желтого цвета косами, симметрично расположенными по обе стороны муслиновой вставки, потупившись, внимала пылким признаниям мсье Капуля, изображая наивное непонимание истинных его намерений, совершенно очевидных и проявляемых как словесно, так и жестами, когда он недвусмысленно указывал на подслеповатое полуподвальное окошко чистенького кирпичного коттеджа, маячившего в правой кулисе.

«Милая! — мысленно воскликнул Ньюленд Арчер, вновь обратив взор на девушку с ландышами. — Она даже понятия не имеет, в чем там дело!» — Он глядел на сосредоточенное личико взглядом восхищенного собственника, в котором гордость своей мужской победой мешалась с нежным преклонением перед безмерной чистотой этого доверившегося ему создания. «Мы будем читать «Фауста» вместе ... на итальянских озерах...» — думал он, мечтательно соединяя антураж уже предполагаемого им медового месяца с шедеврами литературной классики, который он, как мужчина,

¹ Бербанк Лютер (1849–1926) — известный американский натуралист и селекционер, выведший, в частности, кактус без колючек, сливу без косточки и популярный сорт картофеля.

почтет за долг и честь преподать своей суженой. Еще несколько часов не прошло, как Мэй Уэлланд дала ему повод убедиться в том, что он ей «небезразличен» (кодовое обозначение, заменившее нью-йоркским девицам признание в любви), а его воображение уже неслось вскачь и, перепрыгивая стадии обручального кольца, поцелуя, сопровождающего клятву верности и марша из «Лоэнгрина», рисовало его и Мэй вместе на фоне каких-нибудь чарующих европейских пейзажей.

Меньше всего ему хотелось, чтобы в будущем новоявленная миссис Ньюленд выглядела наивной дуручкой. Он намеревался развить в ней (благодаря его таланту просветителя) социальное чутье и быстроту ума, позволяющие не ударить в грязь лицом, в сравнении даже с самыми известными из дам так называемого «молодого круга», иными словами, вращаясь в обществе, где обычай требует от женщин принимать дань мужского внимания, в то же время кокетливо его отвергая. Попытавшись проникнуть в самую глубь собственного тщеславия (что изредка ему почти удавалось), он вынужден был бы признать, что хотел бы видеть жену такой же светски-искушенной и жаждущей нравиться, как та замужняя дама, чьи прелести пленяли его на протяжении двух довольно сумбурных лет; впрочем, даже намек на некую моральную зыбкость, всегда грозившую нарушить размеренность существования его незадачливого кумира и однажды чуть было не спутавшую собственные его планы и замыслы на зимний период, для своей жены он исключал.

Думать над тем, каким образом создать, а после сохранять и поддерживать в нашем жестоком

мире столь чудесное единство льда и пламени, он не удосуживался. Он довольствовался самой идеей, не анализируя ее, поскольку знал, что идею эту разделяют с ним сонмища безукоризненно причесанных джентльменов в белых жилетах и с бутоньерками в петлице. Тех, кто один за другим появлялись сейчас в клубной ложе, дружески приветствовали его и, направляя бинокли на собравшихся в театре дам, рожденных в лоне общества и им воспитанных, критически их оглядывали. Что касается проблем интеллектуальных или же всего, связанного с искусством, тут Ньюленд Арчер чувствовал свое превосходство над этими избранными представителями исконной нью-йоркской знати: он и читал, надо думать, побольше, и размышлял побольше, а уж повидал в мире и подавно больше, чем каждый второй из них. Взятые по отдельности, они явно уступали ему, но все вместе и были тем, что называлось «весь Нью-Йорк», и мужская солидарность заставляла его принимать их взгляды и моральные оценки. Он нюхом чувствовал, что поступать иначе, отстаивая свою самостоятельность, хлопотно, да и не совсем «в стиле».

«Вот так сюрприз!» — воскликнул Лоренс Леффертс, внезапно отводя бинокль от сцены. В Нью-Йорке Леффертс считался первейшим экспертом и докой по части стиля и приличий. Похоже, он посвятил этой хитрой и увлекательной области знания больше времени, нежели прочие. Но знания такого глубокого и всестороннего, такого свободного владения материалом исследования, какое демонстрировал он, одной лишь преданностью этой науке и прилежанием не добиться. Стоило только

скользнуть взглядом по этой сухощавой, элегантной фигуре, увидеть ее всю — начиная с высокого, открытого, с залысынами, лба, красивого извива превосходных светлых усов и кончая длиннейшими ногами с лаковыми штиблетами, их завершающими, и всякому становилось ясно, что человеку, умеющему носить столь красивое платье так небрежно, а свой высокий рост с таким изяществом, чувство стиля и знание приличий даны от рождения. Как сказал однажды про Лефертса один из его почитателей: «Если уж кому доподлинно известно, в каких случаях черный галстук к смокингу носят, а в каких — не носят, так только Ларри Лефертсу». И в битве бальных туфель против лакированных «оксфордов» суд Лефертса был непререкаем.

«Господи боже...» — произнес он, после чего молча передал свой бинокль старому Силлертону Джексону.

Ньюленд Арчер, проследив, куда устремлен взгляд Лефертса, с удивлением убедился, что чувства джентльмена всколыхнула вошедшая в ложу престарелой миссис Мингот новая персона. То была молодая, ростом чуть ниже Мэй Уэлланд, стройная женщина. Тугие завитки ее темно-русых волос прикрывали виски и были стянуты узкой полоской бриллиантовой диадемы — прическа, намекавшая на стиль «а-ля Жозефина»¹, то есть «стиль ампир», что подтверждалось и покроем платья из синего бархата — эффектно перехвачен-

¹ Жозефина Мари-Жозеф-Роз Богарне (1763–1814). С 1801 по 1809 год, будучи супругой Наполеона I Бонапарта, являлась императрицей Франции.

ное под самой грудью поясом, оно было украшено еще и крупной, старого фасона пряжкой на этом поясе. Дама, столь необычно одетая, казалось, совершенно не чувствуя обращенного на нее внимания, на секунду замешкалась, стоя посреди ложи и обсуждая с миссис Уэлланд возможность занять место впереди — в правом углу ложи, затем, улыбнувшись, отступила несколько вглубь и села так, чтобы не потревожить золовку миссис Уэлланд, миссис Ловел Мингот, сидевшую в углу противоположном.

Мистер Силлертон Джексон вернул бинокль Лоренсу Лефертсу, и взоры всех членов клуба инстинктивно обратились к старому джентльмену. Все замерли, ожидая его суждения, ибо мистер Джексон был таким же авторитетом по части родственных связей, коим являлся мистер Лефертс по части стиля и приличий. Мистеру Джексону были ведомы все хитросплетения нью-йоркских кланов и семейств; он мог не только пролить свет на такие важнейшие вопросы, как родство Минготов (через Торли) с южнокаролинскими Далласами или что связывает старшую ветвь филаделфийских Торли с Чиверсами из Олбани (которых ни в коем случае нельзя путать с Мэнсон Чиверсами, что обитают на Юниверсити-плейс), но мог и перечислить бытующие в каждом семействе характерные свойства, как то: баснословная скудость младших Лефертсов (тех, что с Лонг-Айленда) или же губительная склонность Рашвортов заключать глупейшие браки, или безумие, поражающее каждое второе поколение олбанских Чиверсов, из-за чего их нью-йоркские кузины отказывались вступать в брак

с представителями этого семейства — закономерность, не знавшая исключений, не считая всем известного случая с бедняжкой Медорой Мэнсон, печальная участь которой... впрочем, по матери она была из Рашвортов.

Вдобавок к этой непролазной чащобе родословных древ голова мистера Силлертона Джексона между впадин узких висков и под мягкой кровлей серебряной его шевелюры хранила реестр самых важных скандалов и тайн, все последние пятьдесят лет тихо тлевших или бурливших под внешне невозмутимой поверхностью нью-йоркского света. Так далеко простиралась его осведомленность и такой цепкой оставалась память, что он считался единственным, кто мог бы раскрыть всю подноготную банкира Джулиуса Бофорта или поведать, что случилось с красавцем Бобом Спайсером, отцом престарелой миссис Мэнсон Мингот, так таинственно исчезнувшим (с порядочной суммой доверенных ему денег) менее чем через год после женитьбы, но ровно в тот день, когда восхитительной красоты испанская танцовщица, которой рукоплескали толпы в старом здании оперы на Бэттери, отплыла на Кубу. Но все эти тайны, как и масса других, были накрепко заперты в душе мистера Джексона, ибо распространять что-либо, узnanное в частном порядке, не позволял ему не только долг чести, особо остро им осознаваемый, но и полное понимание того, что репутация человека сдержанного и благовоспитанного дает ему дополнительные возможности узнавать все, что его интересует.

Таким образом, клубная ложа замерла в напряженном ожидании, пока мистер Силлертон Джек-

сон возвращал бинокль Лоренсу Лефертсу. Прошло еще мгновение. Старик помолчал, потом тусклые, с поволокой глаза под набрякшими, в старческих жилках веками оглядели внимающих ему завсегдатаев клубной ложи, и, задумчиво крутанув ус, старик изрек только одну фразу: «Вот уж не думал, что Минготы отважатся на такое!»

Глава 2

Этот краткий эпизод поверг Ньюленда Арчера в странное замешательство. Надо ж было случиться, чтобы безраздельное внимание мужской части всего Нью-Йорка привлекла именно эта ложа, ложа, где между матерью и теткой сидела его невеста! Кто эта дама в платье стиля «ампир», он понял не сразу и первые минуты не мог взять в толк, почему ее присутствие в театре вызвало такое возбуждение у людей, видимо, посвященных в некую тайну. Но затем его вдруг осенило, туман рассеялся, и в тот же миг Арчера накрыла волна негодования. Поистине, кто бы мог подумать, что Минготы на такое отважатся!

Но отважились же, и это несомненно, поскольку приглушенные шепотки за его спиной не оставляли сомнения в том, что молодая дама в ложе — это кузина Мэй Уэлланд, та самая, которая в семействе упоминалась не иначе, как «бедная Эллен Оленска». Арчеру было известно, что эта дама внезапно, за день-два до описываемых событий прибыла из Европы. Знал он также от самой мисс Уэлланд (и поведала она ему это без малейших признаков неудовольствия), что ей предсто-

ит встреча с кузиной, остановившейся у миссис Мингот.

Арчер всецело одобрял солидарность семьи — одним из свойств Минготов, особенно им ценимых, была решительная поддержка, которую они оказывали немногим заблудшим овцам их, в целом, безупречного семейного стада. В сердце юноши не было злобы, и, как человек широкий и великодушный, он был только рад, что его будущая жена не страдает ханжеством, почему и сможет беспрекословно (не афишируя это) проявлять доброту и участливость по отношению к незадачливой кузине, однако принимать графиню Оленска в семейном кругу совсем не то, что продемонстрировать ее на публике и не где-нибудь, а в опере, да еще в ложе рядом с девушкой, помолвка которой с ним, Ньюлендом Арчером, должна быть объявлена буквально через несколько недель! Нет! Он может подписаться под словами Силлертон Джексона, он тоже не думал, что Минготы отважатся на такое!

Он знал, что вся доступная человеку мера дерзости (в пределах, установленных Пятой авеню) доступна и может быть использована престарелой миссис Мэнсон Мингот, матриархом рода. Он испытывал неизменное восхищение этой благородной и могущественной леди, которая, будучи от рождения всего лишь Кэтрин Спайсер со Стейтен-Айленда, дочерью человека, запятнавшего себя какой-то темной историей, и не имея поначалу ни денег, ни знакомств, чтобы заставить свет забыть об этом грустном обстоятельстве, сумела связать свою жизнь с главой богатейшего клана Минготов, выдать двух своих дочерей замуж за «иностранцев»

(одну — за итальянского маркиза, другую — за банкира-англичанина) и увенчать ряд столь дерзких выходов строительством солидного дома из бледно-кремового камня (и это в то время, когда бурый песчаник почитался единственно возможным из строительных материалов, таким же обязательным, как фрак по вечерам), умудрившись воздвигнуть его в совершенно диком и девственном месте над Центральным парком.

Заграничные дочери престарелой миссис Мингот превратились в легенду. Повидаться с матерью они не приезжали, а та, как и многие волевые и быстрые умом люди, обладавшая основательностью и устойчивостью привычек, философически решила оставаться на родине. Но кремового цвета дом ее (по-видимому, спроектированный по образцу особняков парижской аристократии) служил наглядным доказательством ее нравственной стойкости и храбрости: она царила в нем, окруженная дореволюционной мебелью и безделушками из Тюильрийского дворца Луи-Наполеона (где она блистала в ее уже немолодые годы), царила с такой спокойной уверенностью, будто не было ничего необычного в том, что жила она за Тридцать четвертой стрит в доме не с подъемными, а французскими окнами в пол.

Все (включая и Силлертонна Джексона) были согласны в том, что престарелая Кэтрин никогда не обладала красотой — даром, который, по мнению Нью-Йорка, оправдывает всякий успех, искупая и ряд прегрешений. Люди недобрые утверждали, что, подобно своей венценосной тезке, она пробила себе путь к успеху в обществе исключительно си-

лой воли и жестокосердием¹, а также своеобразным горделивым бесстыдством, в свою очередь искупаемым строгим достоинством и совершенной благопристойностью ее частной жизни.

Мистер Мэнсон Мингот скончался, когда жене его было всего лишь двадцать восемь лет. Средства свои он в значительной степени «заморозил» с прижимистостью, еще и усиленной той опаской, которую повсеместно вызывали Спайсеры. Но храбрая молодая вдова, бесстрашно ринувшись в атаку, стала гнуть свою линию: она втерлась в общество иностранцев и, вращаясь в нем, сумела внедрить туда и своих дочерей, найдя им мужей бог знает где, в кругах самых модных и самых развращенных; она приятельствовала с послами и герцогами, была накоротке с папистами, принимала у себя оперных певцов, являлась задушевной подружкой мадам Тальони², и все это время репутация ее (о чем не преминул первым возвестить мистер Силлертон Джексон) нисколько не страдала, всегда оставаясь незапятнанной, и имя миссис Мэнсон Мингот, в отличие от имени другой Екатерины, ее тезки и предшественницы (как не забывал добавить мистер Джексон), вызывало только уважение. Она давно уже «разморозила» средства мужа и, успешно пользуясь оставленным ей наследством, лет пятьдесят как проживала в полном довольстве и изобилии, но воспоминания о невзгодах ранних

¹ Автор, скорее всего, имеет в виду Екатерину II Великую (1729–1796), свергшую с российского престола своего мужа, императора Петра III, и воцарившуюся вместо него.

² Тальони Мари Софи (1804–1884) — итальянская танцовщица, имевшая огромный успех в Европе.

лет сделали ее излишне бережливой, и, хотя, покупая себе новый наряд или что-нибудь из мебели, она и старалась, чтобы вещь эта была наилучшего качества, заставить себя тратить деньги на столь преходящее удовольствие, как вкусная еда, она не могла. Поэтому, пусть и по иным причинам, но трапезы в ее доме бывали столь же скудны, как и в доме миссис Арчер, а подаваемые к столу вина ничем не могли эту скудость скрасить. Родственники ее считали, что бедность ее стола позорит род Минготов, чья фамилия всегда ассоциировалась с достатком; но, несмотря на разогретую еду и выдохшееся шампанское, гости валом валили к ней в дом, а на упреки ее сына Ловела (который, стараясь восстановить в этом смысле честь семьи, держал у себя лучшего в Нью-Йорке повара) она обычно отвечала со смехом: «Зачем иметь в одном семействе двух хороших поваров, если дочерей я замуж выдала, а соусы мне теперь противопоказаны?»

Размышляя обо всем этом, Ньюленд Арчер опять обратил взгляд в ложу напротив. Он увидел, что и миссис Уэлланд, и ее свойственница воспринимают сомкнутый полукруг критики и неодобрения с тем поистине минготским *апломбом*, который престарелая Кэтрин сумела воспитать в членах своего клана, и только одна Мэй Уэлланд, чьи щеки заливала краска (возможно, и оттого, что она чувствовала на себе его взгляд), должно быть, ощущает всю серьезность ситуации. Что же до виновницы всеобщего смятения, то она сидела в своем уголке в изящной позе, не отводя глаз от сцены и демонстрируя, когда наклонялась вперед, чуть больше

плечей и груди, чем привык наблюдать Нью-Йорк, по крайней мере, у дам, имеющих причины и желание оставаться в тени.

Мало что на свете претило Ньюленду Арчеру сильнее, чем погрешности против *Вкуса*, этого далекого труднодоступного божества, для которого *Стиль* являлся всего лишь посланцем и представителем. Бледность и серьезность лица мадам Оленска нравились Ньюленду и казались ему вполне приличествующими ситуации, но то, как свободно, без каких-либо хитрых складок или рюшей, ниспадало с тонких плеч ее платье, у Ньюленда вызывало беспокойство и даже его шокировало. Возмущала сама мысль о том, что Мэй Уэлланд может подвергнуться влиянию женщины, столь бесчувственной к велениям *Вкуса*!

— А в чем, собственно, дело? — слышалось за его спиной. Говорил кто-то из молодых людей. (Во время сцен Мефистофеля и Марты в публике не стихал шум разговоров.) — Что такого *особенного* произошло?

— Ну... она его бросила. Это общеизвестно.

— Но он же, кажется, жуткая скотина, разве не так? — недоуменно продолжал все тот же молодой человек, прямодушный Торли, видимо, готовый первым ринуться на защиту дамы.

— Хуже не бывает. Я встречал его в Ницце, — веско заметил Лоренс Лефертс. — Бледная немочь, еле двигается, а все туда же — улыбается с эдакой ехидцей. Лицо, правда, красивое, только глаз за ресницами не видно. Похоже, он из тех мужчин, которые если не женщин, то фарфор коллекционируют и, кажется, готовы платить любую цену — как за одно, так и за другое.

Все посмеялись, а молодой рыцарь проямлил:

— Ну... в таком случае...

— В таком случае она и сбежала с его секретарем.

— О-о, ясно... — Лицо у рыцаря вытянулось.

— Но длилось все недолго. Я слышал, что и нескольких месяцев не прошло, как она очутилась в Венеции одна-одинешенька. Говорят, Ловел Мингот специально отправился в Европу, чтобы вызволить ее оттуда. По его словам, она была ужасно несчастна. Все бы ничего, но выставлять ее на показ перед публикой в опере — это уж слишком.

— Может быть, — рискнул парировать молодой Торли, — несчастную женщину им просто не хотелось оставлять дома одну...

Слова его были встречены смехом, лишенным и тени уважения к собеседнику, и юноша, густо покраснев, попытался представить дело так, будто он лишь намекнул на возможность того, что в кругах просвещенных зовется «double entendre»¹, так сказать, возможность двойной трактовки ситуации.

— Но привозить сюда и мисс Уэлланд — поступок, так или иначе, странный, — негромко сказал кто-то, искоса взглянув на Арчера.

— О, это часть заранее спланированной акции! — Лефертс хохотнул: — Значит, бабушка так распорядилась. Когда старушка что-то затевает, она продумывает все до мельчайших деталей.

Намечался антракт, ложа зашевелилась, и Ньюленд Арчер внезапно ощутил настойчивую потребность в решительном действии: ему захотелось пер-

¹ Double entendre (фр.) — понимать двояко.

вым из мужчин появиться в ложе миссис Мингот, чтобы замерший в ожидании мир узнал о его помолвке с Мэй Уэлланд, захотелось разделить с ней все тяготы, которыми грозило осложнить ее жизнь экстравагантное поведение кузины. Обувший Арчера порыв был так силен, что превозмог все его сомнения и колебания, заставив поспешить по ало-бархатным коридорам на другую сторону зала, к ложе напротив.

Едва войдя в ложу и встретив взгляд мисс Уэлланд, он увидел, что она понимает его намерение, но семейная гордость — достоинство, так ценимое ими обоими, не позволит ей выразить это словесно. Однако в их мире с его атмосферой намеков и бледных, тонких, как тень, иносказаний, тот факт, что двое поняли друг друга без слов, являлся залогом связи более крепкой и тесной, чем связь, даруемая объяснением. Ее глаза сказали: «Видишь сам, зачем мама привезла меня сюда», а его глаза ответили: «Я и помыслить не мог, что не увижу тебя сейчас здесь!»

— Вы ведь знакомы с моей племянницей, графиней Оленска? — спросила миссис Уэлланд, пожимая руку будущему зятю.

Арчер склонился в поклоне, но, как было принято при представлении дамам, рукопожатием с графиней не обменялся, и Элен Оленска лишь слегка наклонила голову, не размыкая рук в светлых перчатках и по-прежнему сжимая ими гигантский веер из перьев орла. Поздоровавшись с миссис Ловел Мингот, полной, поскрипывавшей шелками блондинкой, он сел рядом с невестой и, понизив голос, сказал ей:

— Надеюсь, вы сообщили мадам Оленска, что мы с вами обручены? Я хочу, чтоб все это знали, и прошу разрешения мне объявить об этом сегодня же вечером на балу.

Лицо мисс Уэлланд зарделось розовым цветом зари, в глазах просияла радость:

— Если только вам удастся убедить маму, — проговорила она. — Но зачем менять уже принятые сроки? — И прочтя ответ в его глазах и улыбке, тоже улыбнувшись, но уже смелее она добавила: — А кухне сообщите сами, разрешаю. Она говорит, что в детстве вы играли вместе.

Девушка отодвинула стул, давая ему пройти. Движением быстрым и несколько вызывающим, словно ему хотелось, чтобы весь зал увидел, что он собирается сделать, Арчер опустился на стул рядом с графиней Оленска.

— Ведь мы *играли* вместе, правда же? — сказала она. — Вы были ужасно озорным мальчиком и однажды поцеловали меня за дверью, но влюблена-то я была в вашего кузена Венди Ньюленда, который на меня и не глядел. — Она задумчиво обвела взглядом подкову лож: — Ах, как все здесь возвращает меня назад, в прошлое! Так и видишь всех собравшихся здесь в бриджах или штанишках до колен! — проговорила она нараспев с легким иностранным акцентом, после чего обратила взгляд к нему.

И хотя в словах ее не было ничего шокирующего, молодого человека они больно задели: так не соответствовала нарисованная картина членам высокого трибунала, вершившим в эти мгновения свой суд над нею. Что может быть безвкуснее столь

неуместного легкомыслия! И потому ответом ей было лишь натянуто-чопорное:

— Да, вас не было здесь очень долго.

— Безумно долго, сотни и сотни лет, — отозвалась она, — так долго, что кажется, будто я умерла, меня похоронили, а этот милый знакомый театр — это рай.

Такая непочтительная по отношению к нью-йоркскому обществу метафора шокировала Ньюленда Арчера еще больше.

Глава 3

Все шло как по нотам.

В вечера, когда миссис Джулиус Бофорт давала свой ежегодный бал, она неукоснительно появлялась в опере; вернее сказать, она приурочивала эти балы к оперным премьерам, чтобы подчеркнуть свое пренебрежение низменными хозяйственными хлопотами и уверенность в том, что штат ее прислуги таков, что сумеет организовать празднество, предусмотрев все малейшие детали, без нее и в ее отсутствие.

Дом Бофортов был одним из немногих нью-йоркских домов, обладавших бальной залой (чем превосходил даже дома миссис Мэнсон Мингот и Хедли Чиверсов), а в эпоху, когда только-только начало распространяться представление о «провинциальности» практики перетаскивания мебели наверх, учиняя разгром в гостиной и царапая в ней пол, иметь отдельное помещение, используемое исключительно для балов и триста шестьдесят четыре дня в году простаивающее во мраке за запертыми

ставнями, с грудой позолоченных стульев в углу и зачехленной люстрой, было несомненным преимуществом, воспринимаемым как компенсация за все достойное сожаления, что было в прошлом Бофорта.

Миссис Арчер, любившая чеканить свои философические афоризмы и пускать их в обращение в качестве аксиом, однажды заявила: «У всех у нас есть свои любимцы из числа простолюдинов». Несмотря на дерзость подобного высказывания, оно было признано справедливым и, встреченное сочувствием многих знатных особ, нашло себе тайный приют в их высокородной груди. «Простолюдинами», по сути, Бофорты не являлись, однако находились люди, считавшие их даже хуже простолюдинов. И это при том, что миссис Бофорт принадлежала к одному из самых почитаемых в Америке семейств, происходя из южнокаролинской ветви этого семейства, и звалась некогда «прелестной Региной Даллас». Красотку Регину, не имевшую к тому времени ни гроша за душой, ввела в нью-йоркский свет ее родственница, безрассудная Медора Мэнсон, всегда ухитрявшаяся употребить во зло самые добрые намерения и побуждения. Впрочем, всякий состоявший в родстве с Мэнсонами и Рашвортами получал в нью-йоркском обществе право на гражданство, «*droit de cité*» (как называл это мистер Силлертон Джексон, в свое время частый гость Тюильрийского дворца). Но не терял ли такое право всякий, вступающий в брак с Джулиусом Бофортом?

Вопрос заключался в том, кто такой Бофорт? Считался он вроде бы англичанином — человек

приличный, обходительный, красивый, порою вспыльчив, но гостеприимен и остроумен. Прибыл в Америку с рекомендательными письмами от зятя престарелой миссис Мэнсон Мингот, английского банкира, и очень скоро занял видное положение в деловых кругах, однако жизнь он вел рассеянную, разгульную, юмор его отдавал сарказмом, а кто его предки — так и оставалось тайной; вот почему, когда Медора Мэнсон объявила о помолвке с ним ее родственницы, это было воспринято как очередное сумасбродство в длинном перечне сумасбродств безрассудной Медоры.

Но последствия сумасбродств, бывает, их оправдывают, оборачиваясь мудростью, и происходит это не реже, чем подтверждают мудрость мудрых поступков их мудрые последствия. После двух лет ее брака дом молодой миссис Бофорт был признан самым блистательным и изысканным домом Нью-Йорка. Никто не понимал, как свершилось подобное чудо. Женщина, казавшаяся такой ленивой и праздной, безразличной, вялой, злые языки называли ее скучной и попросту глупой, внезапно преобразается — разряженная, как принцесса, увешанная жемчугами, день ото дня молодея и хорошея, она царит в солидном, выстроенном из тяжелого темного камня дворце мистера Бофорта и манит к себе во дворец толпы гостей, не предпринимая никаких усилий, не пошевелив ни единым пальчиком в бриллиантах! Люди осведомленные поговаривали, что это сам Бофорт школит прислугу, учит рецептам новых блюд повара, указывает садовникам, какие цветы он будет высаживать в оранжерее — те будут для гостиных, эти — для

столовой, что он сам приглашает гостей, сам готовит послеобеденный пунш и диктует жене текст записок ее подругам. Если это было и так, то этого никто не наблюдал, миру же Бофорт являлся в облике беззаботного и гостеприимного миллионера, входившего в собственную гостиную с отстраненным и безучастным видом гостя и словами: «Глоксинии моей жены — настоящее чудо, не правда ли? По-моему, ей их доставили прямо из Кью»¹.

Секрет мистера Бофорта, и в этом согласны были все, заключался в его выдержке. Можно было втихомолку сплетничать о том, что покинуть Англию «ему помогли», и сделал это международный банк, где он дотоле служил, мистер Бофорт сносил этот слух с легкостью, как и все прочие слухи, при том, что в деловых кругах Нью-Йорка общественное мнение столь же чувствительно и подвержено колебаниям, как и принципы морали. Бофорт мог выдержать что угодно, включая всегдашний наплыв посетителей в его гостиных, и вот уже более двадцати лет нью-йоркцы объявляли, что «идут к Бофортам», так же решительно и без стеснения, как если бы они направлялись в дом миссис Мэнсон Мингот, и даже с большим удовольствием, ибо знали, что за столом у Бофортов их станут потчевать не покупными филадельфийскими крокетами и тепловатым шампанским «Вдова Клико» неизвестного года, а вкуснейшей, с пылу с жару утятинной отменных уток-нырков и винтажными винами.

¹ То есть из Кью-Гарденс, старинного и знаменитого ботанического сада в Лондоне.

И вот миссис Бофорт, как обычно, возникла в своей ложе непосредственно перед арией Маргариты с драгоценностями, а когда, опять-таки, как обычно, она в конце третьего акта, обернув накидкой роскошные плечи, исчезла, для Нью-Йорка это был знак, что бал начнется через полчаса.

Дом Бофортов был из тех домов, которых нью-йоркцы с гордостью показывают иностранцам. Одними из первых хозяева его обзавелись собственной красной бархатной дорожкой, которую их собственные лакеи раскатывали по ступеням крыльца и под навесом, также собственным, а не взятым напрокат, в придачу к ужину и стульям в зале. К тому же именно Бофорты ввели в обиход правило, согласно которому дамам следовало, войдя, снимать верхнюю одежду в холле, вместо того, чтобы одетыми тяжело подниматься по лестнице в спальню хозяйки и там, раздевшись, еще с помощью газовой горелки подправлять себе локоны. Таким нововведением Бофорт молча давал понять, что не допускает даже мысли об отсутствии у приятельниц жены горничных, в чьи обязанности входит забота о безукоризненности причесок своих хозяек, когда те выходят в свет.

Бальная зала была предусмотрена смелыми архитекторами дома еще на стадии проекта и располагалась так, чтобы, направляясь туда, гость не протискивался по узкому коридору (как это было у Чиверсов), а шествовал гордо и свободно сквозь анфиладу гостиных (цвета морской волны, малиновой и светло-желтой, цвета лютика), видя еще издали, как обилие свечей в люстрах отражается сиянием натертого до блеска паркета, а за анфи-

ладой — темная глубь зимнего сада, где камелии и гигантские древовидные папоротники простирают зелень своих ветвей, смыкаясь аркой весьма дорогостоящего шатра над козетками из бамбука — зеленого и золотистого.

Ньюленд Арчер, как и подобало юноше его положения, не спешил и с приходом на бал несколько припозднился. Препоручив свое пальто лакеям в шелковых чулках (такие чулки на прислуге были в числе тех немногих глупых слабостей, которые позволял себе Бофорт), он помедлил, задержавшись в отделанной испанской кожей и малахитом библиотеке, с мебелью в стиле «Буль», где шла оживленная беседа в группе мужчин, натягивавших бальные перчатки; пробыв там минуту-другую, Арчер присоединился к цепочке гостей, которых на пороге малиновой гостиной встречала миссис Бофорт.

Он заметно нервничал. В клуб после оперы, как было заведено у молодежи, он не поехал, и так как вечер был тихий и погода прекрасная, решил прогуляться по нижней части Пятой авеню и только потом, вернувшись назад, направиться к дому Бофортов. Он всерьез опасался, что Минготы и впрямь зашли так далеко, что, повинувшись бабке, могут притащить графиню Оленска и на бал. По тону разговоров в клубной ложе он понял, какой непоправимой ошибкой это бы оказалось, и при всем его желании «разделить все тяготы» с невестой, при том, что решимость сделать это лишь крепла в нем и теперь была крепка, как никогда, рыцарские чувства по отношению к кузине Оленска после краткого общения с ней в опере у Арчера несколько ослабли.

Добредя до «лютиковой гостиной», на одну из стен которой Бофорт имел смелость поместить «Любовь-победительницу», весьма сомнительную и вызвавшую шквал критики картину Бугро¹ с изображением голой женщины, Арчер увидел миссис Уэлланд с дочерью, стоявших возле входа в бальную залу. А за ними в зале по паркету уже скользили пары, и свет восковых свечей, падая, освещал кружевные тюлевые юбок, скромные веночки на головах юных девиц, султаны из перьев и эгретки молодых замужних дам, жестко накрахмаленные, сверкающие глянцем манишки кавалеров и свежайшие, снежно-белые перчатки.

Мисс Уэлланд с букетом все тех же ландышей (другим букетом она не обзавелась) переминалась с ноги на ногу, стоя почти в дверях, видимо, готовая тоже пуститься в пляс. Она была бледна, но глаза ее горели искренним воодушевлением. К ней теснились какие-то юноши и девицы, смеялись, шутили, пожимали ей руки. В эту веселую кутерьму вносила лепту и миссис Уэлланд: она держалась чуть поодаль, но метала в толпу молодежи лучики умеренно одобрительных взглядов. Ясно было, что мисс Уэлланд как раз в эти мгновения объявляет о своей помолвке, а ее мать изображает холодно-ватую отстраненность, должную, по ее мнению, означать приличествующие случаю озабоченность и естественную родительскую ревность.

¹ Бугро Вильям Адольф (1825–1905) — французский художник, мастер так называемой «салонной живописи».

Арчер медлил. Он испытывал нетерпеливое желание дать знать об их помолвке хоть всему миру, но объявлять о ней *так* — ему не хотелось. Объявлять о столь радостном событии в шуме и горячке бала, в сутолоке веселящейся толпы значило бы лишить это событие аромата интимности, столь важной в сердечных делах. Правда, радость его была так глубока и сокровенна, что никакая слабая, внешняя рябь на ее поверхности не могла омрачить и исказить ее сути, по существу, ее даже не затрагивая, и все же он бы предпочел, чтобы и поверхностно, внешне радость его оставалась чистой. Некоторым утешением было сознавать, что Мэй понимает это его чувство и разделяет его с ним. Она глядела на него с мольбой, как бы говоря взглядом: «Помни одно: мы делаем это потому, что так надо».

Никакая другая мольба не проникла бы в сердце Арчера столь стремительно, не нашла бы в нем такого отклика, и все же он желал, чтобы необходимость решительного действия была бы продиктована причиной более возвышенной и благородной, чем просто появление этой несчастной Эллен Оленска. Группа, окружавшая мисс Уэлланд, теперь двинулась к ним и, приняв причитающуюся ему долю поздравлений, он увлек свою суженую на середину залы и обнял ее талию.

— Вот. Теперь и говорить не надо, — сказал он, с улыбкой глядя в ясные, невинные глаза девушки, плывя с ней по нежным волнам «Голубого Дуная».

Она не ответила. Губы ее дрогнули в улыбке, но глаза остались серьезными, а взгляд рассеянным, словно устремленным к чему-то далекому и несказанно прекрасному.

«Милая», — шепнул Арчер, прижимая ее к себе: он вдруг понял, что первые часы помолвки таят в себе нечто очень важное, святое. Как должна будет обновиться его жизнь рядом с этим светлым, добрым, лучезарным созданием!

Когда танец завершился, они, как и подобало обручившейся паре, уединились в зимнем саду, спрятавшись под покровом древовидных папоротников и камелий. Ньюленд прижал к губам ее руку в перчатке.

— Видите, я сделала все, как вы хотели, — сказала она.

— Да, мне не терпелось. — Он улыбнулся.

— Я знаю. — Глаза их встретились. В ее взгляде он прочел понимание. — Но ведь и здесь мы как будто одни и наедине, правда же?

— О, дорогая... так будет всегда-всегда! — вскричал Арчер.

Кажется, она и впрямь всегда все поймет и каждым своим словом попадет в точку! Это открытие переполнило его блаженной радостью, и с веселой бесшабашностью он произнес:

— Самое ужасное, что мне хочется вас поцеловать, а нельзя!

Говоря это, Арчер шарил взглядом вокруг и, убедившись, что поблизости никого нет, он притиснул ее к себе и коснулся ее губ легким поцелуем. И тут же, будто желая уравновесить дерзость своего поступка, он увлек ее в менее уединенную часть сада, где, сев рядом с ней на бамбуковую козетку, вытянул из ее букета и взял себе веточку ландыша.

— Вы сказали моей кузине Эллен? — вдруг спросила она, словно очнувшись.

Он встрепнулся, вспомнив, что так и не сделал обещанного. Сама мысль о необходимости поделиться сокровенным с этой чужой женщиной, иностранкой, вызывала неодолимое отторжение, отталкивала, не давала произнести нужные слова.

— Нет, так и не представилось случая, — с ходу соврал он.

— О-о... — разочарованно протянула она, но тут же поправилась и мягко продолжала: — И все-таки вам надо это сделать, потому что я ведь тоже не сказала, а я не хочу, чтоб она подумала...

— Ну конечно, конечно! Но разве не от вас это должно было бы исходить?

Она помолчала, обдумывая ответ.

— Если б я сделала это вовремя, тогда, разумеется, но теперь произошла заминка, и мне кажется, что вам стоит объяснить ей, что я просила вас сказать ей об этом раньше в опере, еще до того, как мы объявили это всем. А не то она может решить, что я к ней не проявила внимания, забыла о ней. Она ведь, знаете, член нашей семьи и так долго отсутствовала... что стала такая... как бы это сказать... ранимая, что ли...

Арчер так и просиял:

— Дорогая! Ангел мой! Ну конечно же, я ей все объясню! — Он с некоторой опаской кинул взгляд в сторону переполненной залы. — Но я еще не видел ее. Она здесь?

— Нет. В последнюю минуту она отказалась поехать.

— В последнюю минуту? — эхом отозвался он, невольно выдавая вопросительной интонацией

свое удивление тем, что девушка могла даже вообразить, будто была возможность и иного решения.

— Да. А ведь она так любит танцы! — просто-душно продолжала Мэй. — Но ей вдруг взбрело в голову, что платье ее недостаточно хорошо для бала, хотя нам платье очень нравилось. Так что тетушке пришлось отвезти ее домой.

— Ну что ж... — только и произнес Арчер, с облегчением разыгрывая равнодушие. Его особенно восхищало в невесте ее мастерское, доведенное до совершенства умение всегда, если только можно, обходить острые углы, избегая всего «неприятного» — искусство, которому они оба обучались с детства.

«А ведь ей не хуже моего известна, — мысленно рассуждал он, — истинная причина отказа кузины ехать на бал, но ни за что на свете я не покажу Мэй, что знаю о темном пятне на репутации бедняжки Эллен Оленска и что мне это безразлично».

Глава 4

На следующий день были сделаны первые из положенных после помолвки визитов. Ритуал этих визитов в Нью-Йорке был неизблем и соблюдался со всею строгостью и неукоснительностью. Согласно данному ритуалу начинать серию визитов надлежало Ньюленду Арчеру, почему он вместе с матерью и сестрой сначала нанесли визит миссис Уэлланд, после чего он, миссис Уэлланд и Мэй отправились к престарелой миссис Мэнсон Мингот, чтобы испросить благословения у этой почтенной прародительницы и главы клана.

Визит к миссис Мэнсон Мингот юношу всегда чрезвычайно занимал. Даже сам ее дом и тот был реликвией, хотя и не столь исторически ценной, как некоторые другие старинные фамильные гнезда, что расположены на Юниверсити-Плейс или в нижней части Пятой авеню. Те являлись хранителями чистейшего стиля 1830-х годов и строго блюли в своих интерьерах гармонию этого стиля с его коврами, украшенными орнаментами из жирных, похожих на капустные кочаны роз, овальной формы каминов с полками из черного мрамора, необъятных размеров застекленных книжных шкафов и консолей из красного дерева; ну а миссис Мингот выстроила свой дом позже и, скинув с себя тяготы ранних лет, вместе с ними выкинула и тяжелую мебель первоначальной поры своей жизни. Освободившись, таким образом, в том числе и буквально, от груза всего отжившего и подмешав в фамильное достояние Мингота толику фривольности Второй империи, она расцветила убранство дома веселыми обоями и драпри и, по излюбленной своей привычке, села у окна гостиной на первом этаже, наблюдая за течением времени и моды и словно ожидая, когда этот поток переменит направление и устремится на север, к ее одинокой двери. Она не торопила события, ибо терпения ей было не занимать, равно как и уверенности. Она знала, что рано или поздно все эти заборы вокруг строительных площадок, ямы и карьеры, одноэтажные салуны, деревянные теплицы в неряшливых неухоженных садах, все эти холмы и горы с пасущимися на них и взирающими с высоты козами исчезнут, уступив место домам, величавостью

своею подобным ее дому («Или даже еще величавее», — думала она, будучи женщиной беспристрастной); она знала, что булыжные мостовые, по которым с грохотом и дребезжаньем, подскакивая на неровностях, едут omnibusы, будут переложены — мостовые покроют гладким асфальтом, какой видели посещавшие Париж, а до той поры она (как и каждый из нас) всячески старалась, чтобы посещали ее и, надо сказать, что в умении наполнить дом гостями она не уступала Бофортам, при том, что ухитрялась делать это, не добавляя ни единого блюда в меню своих ужинов.

Постигшее ее на середине жизненного пути несчастье — непомерное умножение и буйное разрастание плоти — обрушилось на нее подобно извержению вулкана, заливающего потоком лавы обреченный град, превратив эту небольшую и крайне энергичную женщину, пухленькую, но со стройными ногами — изящными лодыжками и высоким подъемом стопы, — в настоящего монстра, монументальностью своею вызывающего нечто вроде оторопи и благоговейного трепета, какой испытываешь, увидев чудо природы. Несчастье это она восприняла ровно с тем же философическим спокойствием, с каким воспринимала и прочие ниспосланные ей испытания, и теперь, будучи уже в преклонных летах, была вознаграждена за это спокойствие возможностью видеть в зеркале свое отражение: огромную и плотную, почти без морщин, бело-розовую массу, посреди которой обозначалось то, что было некогда лицом, маленькое, оно словно ожидало момента, когда его извлекут из-под завала. Гладкие уступы двойных подбород-

ков вели вниз, в туманную даль все еще белой как снег груди, скрытой под ворохом белых шелков, скрепленных миниатюрным портретом покойного мистера Мингота и обрамленных с боков и внизу черным шелком, волны которого перехлестывали через парапет вместительного кресла и качали на своей поверхности двух чаек — крохотные белые ручки миссис Мингот.

Груз разросшейся плоти давно уже воспретил своей обладательнице спускаться и подниматься по лестницам, и со свойственной ей независимостью и бесцеремонностью она переместила на первый этаж как комнаты для приемов, так и личные свои покои (что было, конечно, вопиющим нарушением всех соблюдаемых Нью-Йорком правил), и потому, сидя с ней возле окна гостиной на первом этаже, ты мог невзначай увидеть (сквозь вечно распахнутую дверь с отведенной в сторону портьерой из желтого дамаста) спальню хозяйки: гигантских размеров низкую кровать, убранную роскошно, под стать дивану, туалетный стол, покрытый кружевной скатертью с легкомысленными оборками, и зеркало в золотой раме. Визитеров несколько и пугала, и восхищала чужеродность всего этого убранства, словно переносившего их в атмосферу французских романов и приглашавшего к участию в сценах, степени аморальности которых простой американец был не в силах даже вообразить. Вот точно в таких покоях и принимали своих любовников героини их книг, эти развратницы из Старой Европы, в таком антураже и творили они свои непристойности! Ньюленд Арчер мысленно переносил любовные сцены «Мсье де

Камора»¹ в спальню миссис Мингот и развлекал себя, представляя, как выглядела бы ее безупречно добродетельная жизнь в окружении предметов, так и зовущих к прелюбодейству; он думал (не без доли восхищения), что если этой несокрушимой в своей смелости женщине вдруг сейчас понадобился бы любовник, то и любовника бы она себе раздобыла с легкостью.

К большому облегчению наших визитеров, графини Оленска в гостиную ее бабки не оказалось. Та объяснила, что графиня отправилась на прогулку; делать это при таком ярком солнечном свете, да еще в час, обычно всеми посвящаемый покупкам, выглядел деянием не слишком деликатным для женщины, так или иначе себя скомпрометировавшей. Однако, удалившись, она избавила их от своего присутствия во время визита и от той легкой тени, которой ее сомнительное прошлое могло бы омрачить лучезарность предуготовленного им будущего. Визит прошел, как и ожидалось, успешно. Престарелая миссис Мингот с восторгом отнеслась к известию о помолвке, которую прозорливая родня давно предвидела, долго обсуждала и приняла на семейном совете, а обручальное кольцо с сапфиром, изящно вправленным в почти незаметные лапки, было ею всецело одобрено.

— Оправа сделана по современной моде, — пояснила миссис Уэлланд, — камень она подчеркивает превосходно, но традиционному вкусу может показаться бедноватой. — И миссис Уэлланд покосилась на будущего зятя, как бы прося ее извинить.

¹ «Мсье де Камор» — роман французского писателя Октава Фёйе (1821–1890).